

Сомерсет Моэм

13 DP
1910
PARIS

«ЛУНА
И ГРОШ»



Сомерсет Моэм

Луна и грош

<https://litres.ru/74249284>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Луна и грош» — роман Сомерсета Моэма, опубликованный в 1919 году. В центре сюжета — Чарльз Стрикленд, английский биржевой маклер средних лет, который внезапно бросает жену и детей, чтобы осуществить свою мечту — стать художником. Живя в нищете и не обращая внимания на окружающих, Стрикленд разрушает отношения в своем стремлении к искусству и красоте. Вдохновленная жизнью Поля Гогена, история исследует миф о художнике-гении на примере путешествия из Лондона в Париж и на Таити.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	13
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Сомерсет Моэм

Луна и грош

Глава 1

Признаюсь, когда я впервые познакомился с Чарльзом Стриклендом, во мне даже на мгновение не мелькнуло, что в нём есть что-то необычное. И всё же теперь вряд ли найдётся тот, кто станет оспаривать его величие. Я говорю не о том величии, которое приносит удачливый политик или успешный воин — это качество принадлежит скорее должности, чем человеку, и при смене обстоятельств оно сжимается до ничтожных размеров. Премьер-министр без кресла нередко оказывается всего лишь напыщенным краснобаем, а генерал без армии — безобидным героем захолустного городка. Величие Чарльза Стрикленда было подлинным. Возможно, вам не по душе его искусство, но вы вряд ли сможете пройти мимо него равнодушно. Оно тревожит и захватывает.

Прошли времена, когда его делали посмешищем; теперь уже не признак эксцентричности защищать его, как и не признак извращённости — восхвалять. Его недостатки принимают как неизбежное дополнение к достоинствам. Ещё можно спорить о его месте в искусстве, и преклонение поклонников, пожалуй, не менее прихотливо, чем злоба его недоб-

рожелателей. Но одно остаётся вне сомнений — у него был гений.

Для меня самое интересное в искусстве — личность художника. И если она неординарна, я готов простить тысячи его ошибок. Думаю, Веласкес был лучшим живописцем, чем Эль Греко, но привычка притупляет к нему восхищение. А критянин, чувственный и трагический, словно в жертву, предъявляет нам тайну своей души. Художник — живописец, поэт или музыкант — своим творением, величественным или прекрасным, удовлетворяет эстетическое чувство, родственное сексуальному инстинкту и столь же дикое. Но он дарит нам и нечто большее — самого себя. Раскрыть его тайну — всё равно что расследовать детектив: здесь живёт та же притягательность. Это загадка, сродни самой Вселенной, — и, как и у неё, у неё нет ответа. Даже самая незаметная работа Стрикленда пронизана личностью, странной, мучительной, сложной. И, вероятно, в этом причина того, что даже те, кому его картины не нравятся, не могут остаться к нему равнодушными. В этом — источник того необычайного интереса, который вызывает его жизнь и характер.

Лишь спустя четыре года после смерти Стрикленда Морис Гюре опубликовал в журнале *Mercure de France* статью, которая вырвала забытого художника из небытия и проложила путь, по которому впоследствии, с той или иной степенью покорности, пошли другие писатели. Долгое время ни один критик во Франции не пользовался столь безоговороч-

ным авторитетом, и невозможно было остаться равнодушным к его утверждениям — они казались чудовищно преувеличенными, но последующие оценки подтвердили его проницательность. Теперь репутация Чарльза Стрикленда прочно утвердилась именно на тех основаниях, которые заложил Гюре. Его признание стало одним из самых романтических эпизодов в истории искусства.

Однако я не собираюсь анализировать творчество Стрикленда, кроме как в той мере, в какой оно раскрывает его личность. Я не могу согласиться с художниками, которые с высокомерием заявляют, будто дилетант ничего не смыслит в живописи и лучше всего выражает своё восхищение молчанием да чековой книжкой. Это абсурдное заблуждение, сводящее искусство к ремеслу, понятному лишь посвящённым. Искусство — это проявление чувства, а чувство говорит на языке, доступном каждому. Впрочем, я допускаю: критик, не владеющий техникой живописи, редко способен сказать что-либо по-настоящему ценное. Что до меня — моё невежество в живописи почти полное. К счастью, мне не нужно рисковать собственным мнением: мой друг, мистер Эдвард Леггатт — талантливый писатель и превосходный живописец — уже исчерпывающе рассмотрел творчество Стрикленда в небольшой книге, которая сама по себе — прекрасный образец стиля, в Англии культивируемого, увы, не так удачно, как во Франции.

В своей знаменитой статье Морис Гюре очертил жизнь

Чарльза Стрикленда с мастерским расчётом — так, чтобы разжечь любопытство самых взыскательных читателей. Порываясь бескорыстно служить искусству, он искренне стремился привлечь внимание знатоков к таланту исключительной оригинальности. Но он был слишком опытным журналистом, чтобы не понимать: именно «человеческий интерес» — ключ к сердцам публики и надёжный инструмент для достижения цели.

И вот, когда писатели, знавшие Стрикленда в Лондоне, художники, встречавшие его в кафе Монмартра, — все, кто когда-либо сталкивался с ним в прошлом, — вдруг с изумлением осознали, что рядом с ними, плечом к плечу, ходил не просто провалившийся живописец, каких немало, а подлинный гений, — из Франции и Америки хлынули статьи. То воспоминания одного, то оценка другого — поток ностальгических и восторженных публикаций нарастал. Эти материалы укрепляли славу Стрикленда, но лишь разжигали, не удовлетворяя, любопытство публики.

Тема оказалась благодарной. И трудолюбивый Вейтбрехт-Ротхолц в своей внушительной монографии смог собрать впечатляющий список источников.

Человеку присуща врождённая способность создавать мифы. Люди с жадностью хватаются за любые необычные или загадочные события в жизни тех, кто выделяется из толпы, и сплетают легенду, в которую потом верят с фанатичной убеждённоcтью. Это — протест романтики против пошло-

сти повседневности. Именно эти легендарные эпизоды становятся надёжнейшим пропуском в бессмертие. Ироничный философ усмехнётся, вспомнив, что сэр Уолтер Ралли навеки остался в памяти человечества не за то, что водрузил английское знамя в неизведанных землях, а за то, что расстелил свой плащ перед королевой-девственницей, чтобы она не запачкала ноги.

Чарльз Стрикленд жил в тени. Он больше наживал врагов, чем друзей. Неудивительно, что те, кто писал о нём, приукрашивали скудные воспоминания живым воображением. И ведь было на что опереться: в его жизни хватало странного и ужасного, в характере — чего-то вызывающе дерзкого, а в судьбе — немало трагического. Со временем легенда разрослась, обросла такими подробностями, что даже самый благоразумный историк поостерёгся бы оспаривать её.

Но благоразумным историком преподобный Роберт Стрикленд не был. Он написал биографию отца, заявив, что его цель — «развеять некоторые распространённые заблуждения о последних годах его жизни, причиняющие боль живущим». И в самом деле, в общепринятом рассказе о Стрикленде было немало такого, что могло смутить почтенную семью.

Я прочёл эту книгу с немалым удовольствием — и этому рад, ведь сама она скучна и бесцветна. Мистер Стрикленд изобразил своего отца как образцового мужа и отца, человека мягкого нрава, трудолюбивого и нравственно безупреч-

ного. Современный священник, изучая науку, которую, если не ошибаюсь, называют экзегетикой, приобретает поразительную ловкость в том, чтобы всё объяснять, оправдывать и приглаживать. Но та изощрённость, с какой преподобный Роберт «истолковал» те факты из жизни отца, которые почтительному сыну было бы неудобно вспоминать, наверняка со временем возведёт его на самые высокие церковные ступени. Я уже вижу его мускулистые икры в епископских гетрах.

Было рискованно — хотя, может быть, и благородно — предпринимать такой шаг. Ведь именно легенда, с её драматичностью и жестокостью, во многом способствовала росту славы Стрикленда. Многие пришли к его искусству не вопреки его мерзостному характеру, а именно благодаря ему; других тронула трагедия его смерти. И вот — благонамеренные усилия сына охладили даже самых преданных поклонников отца.

Не случайно, когда вскоре после выхода биографии на аукционе Кристи вновь появилась одна из важнейших работ Стрикленда — «Самаритянка», — она была продана на £235 дешевле, чем девять месяцев назад, когда её купил тот самый выдающийся коллекционер, чья внезапная кончина и вернула полотно под молоток. Возможно, силы и оригинальности самого Стрикленда не хватило бы, чтобы перетянуть чашу весов, если бы неудержимая склонность человечества к мифотворчеству не отбросила с раздражением повесть, столь

неудовлетворявшую его жажду необычного. И тогда на сцену выступил доктор Вейтбрехт-Ротхольц со своим трудом, окончательно рассеявшим сомнения всех истинных ценителей искусства.

Доктор Вейтбрехт-Ротхольц принадлежит к той школе историков, которые убеждены: человеческая природа не просто скверна — она гораздо хуже, чем можно себе представить. И, признаюсь, читать таких куда интереснее, чем тех, кто с циничным удовольствием превращает великих романтических героев в образцы домашних добродетелей. Мне было бы тяжело думать, что между Антонием и Клеопатрой не было ничего, кроме экономических расчётов. И потребуются неимоверное количество доказательств — слава Богу, вряд ли когда-либо появится — чтобы убедить меня, будто император Тиберий был так же безупречен, как король Георг V.

С такой жестокостью разобрал доктор Вейтбрехт-Ротхольц невинную биографию преподобного Роберта Стрикленда, что трудно не почувствовать симпатии к этому несчастному пастору. Его благопристойную сдержанность автор клеймит как лицемерие, увиливания называет откровенной ложью, а молчание — предательством. И на основании мелких, впрочем, простительных для сына умолчаний, но непростительных для биографа, он обвиняет всю англосаксонскую расу в притворстве, самодовольстве, ханжестве, коварстве и даже — по его мнению — в плохой кухне.

Лично мне кажется, что мистер Стрикленд поступил опрометчиво, желая опровергнуть слухи о «неприятностях» между его отцом и матерью, заявив, будто Чарльз Стрикленд в письме из Парижа назвал жену «превосходной женщиной». Ведь доктор Вейтбрехт-Ротхольц тут же напечатал письмо в факсимиле, и оказалось, что фраза звучала так:

«Будь проклята моя жена. Она — превосходная женщина. Хотел бы, чтобы она была в аду».

Именно так не поступали великие отцы церкви с неудобными доказательствами.

Доктор Вейтбрехт-Ротхольц был восторженным поклонником Чарльза Стрикленда — и потому не было и речи о том, что он станет его оправдывать. У него был безошибочный нюх на низменные мотивы даже в самых невинных поступках. Он был не только искусствоведом, но и психопатологом — и подсознательное мало что могло перед ним скрыть. Ни один мистик не видел бы в обыденных вещах более глубокого смысла. Только разница: мистик видит неизреченное, а психопатолог — неприличное.

В этом есть странное очарование: наблюдать, с каким упоением учёный выкапывает каждую мелочь, способную запятнать героя. Его сердце радуется, когда он находит пример жестокости или подлости, и ликует, как инквизитор на аутодафе, когда забытая история заставляет покраснеть сыновнюю почтительность преподобного Роберта. Его трудолюбие поразительно. Ничто не ускользнуло от него — будь

то неоплаченный счёт прачке или невозвращённая полукрона. И будьте уверены: если Стрикленд задолжал — счёт будет приведён дословно, а если взял в долг — ни одна деталь сделки не будет упущена.

Глава 2

Если о Чарльзе Стрикленде уже написано столь много, может показаться, что мои воспоминания излишни. Памятник художнику — его творчество. Но, пожалуй, я знал его ближе, чем большинство: я встретил его задолго до того, как он стал живописцем, и не раз видел в те трудные годы, что он провёл в Париже. Однако вряд ли я вообще решился бы записать свои впечатления, если бы не волею военных случайностей оказался на Таити.

Именно там, как известно, он провёл последние годы своей жизни. И именно там я повстречал людей, близко знавших его. Теперь я могу пролить свет на ту часть его трагической судьбы, которая до сих пор оставалась самой тёмной.

Если те, кто верят в величие Стрикленда, правы — тогда личные рассказы тех, кто знал его плотью и кровью, вряд ли будут лишними. Чего бы мы сейчас ни дали за воспоминания кого-нибудь, знавшего Эль Греко так же близко, как я знал Стрикленда?

Но я не прибегаю к подобным оправданиям. Не помню, кто именно советовал ради спасения души ежедневно совершать по два неприятных поступка — но был это человек мудрый, и я следовал его наставлению с педантичной добросовестностью: каждый день я вставал и каждый день ложился спать.

Однако в моём характере есть склонность к аскетизму, и раз в неделю я подвергаю свою плоть ещё более суровому испытанию: я неизменно читаю Литературное приложение к The Times.

Это — целительная дисциплина: созерцать океан книг, которые издаются ежегодно, представить себе светлые надежды, с которыми авторы их выпускают в свет, и затем — судьбу, уготованную большинству из них. Какой шанс имеет отдельная книга пробиться сквозь эту толпу? А те, что доби-ваются успеха, — и те остаются в моде лишь на один сезон.

Одному Богу известно, каких мук стоило автору написать её, сколько горького опыта, скольких душевных мук он вложил в строки, чтобы дать случайному читателю несколько часов отвлечения или смягчить ему скуку путешествия.

И если судить по рецензиям, многие из этих книг написаны с умом и тщательностью; над ними изрядно потрудились мысль; некоторые — плод напряжённого труда всей жизни.

Мораль, которую я из этого извлекаю: писатель должен искать награду в удовольствии от самого труда и в облегчении, которое приходит с избавлением от груза собственных мыслей. Ко всему остальному он должен быть равнодушен — ни к похвале, ни к порицанию, ни к успеху, ни к неудаче.

Но вот пришла война — и с нею новое отношение к жизни. Молодёжь обратилась к богам, которых мы, люди предыдущего поколения, не знали; и уже сейчас можно угадать, по какому пути пойдут те, кто придёт после нас. Молодое поко-

ление, ощущающее в себе силу и полное бурлящей энергии, перестало стучаться в двери — оно ворвалось, заняло наши места и уселось в них. Воздух оглашён их криками.

Среди старших некоторые, подражая гримасам молодости, стараются внушить себе, что их день ещё не прошёл. Они кричат вместе с самыми звонкими, но боевой клич звучит в их устах пусто. Они похожи на жалких старых коко-ток, которые карандашом, румянами и пудрой, с притворной весёлостью, пытаются вернуть иллюзию весны, давно ушедшей. Более мудрые идут своей дорогой с достойным спокойствием. В их сдержанной улыбке — снисходительная насмешка. Они помнят, как сами когда-то, с тем же шумом и тем же презрением, сбрасывали уставшее поколение. И они предвидят, что и эти смелые носители факелов вскоре уступят свои места другим.

Нет ничего последнего. Новое евангелие было старо уже тогда, когда Ниневия воздвигала своё величие к небу. Те самые смелые слова, которые кажутся новыми тем, кто их произносит, звучали почти без изменений сотни раз до этого. Маятник качается туда и обратно. Круг замыкается вновь и вновь.

Иногда человек переживает эпоху, в которой ему было отведено место, и попадает в новую — чужую, непонятную. Тогда перед любопытными разворачивается одна из самых причудливых сцен человеческой комедии.

Кто, например, вспоминает ныне Джорджа Краббе? В своё

время он был знаменитым поэтом, и мир признал его гений с той единодушной покорностью, какая в наше более сложное время почти невозможна. Он учился у Александра Попа и писал нравоучительные повести рифмованными двустишиями. Потом наступила Французская революция, разразились наполеоновские войны — и поэты запели новые песни. А мистер Крабб продолжал писать нравоучительные повести рифмованными двустишиями.

Должно быть, он читал стихи тех юношей, что потрясли мир, — и, думаю, находил их жалким бормотанием. Конечно, многое в них и впрямь было никудышным. Но оды Китса и Вордсворта, несколько стихотворений Кольриджа, горсть — но только горсть — творений Шелли открыли безбрежные области духа, никем ранее не исследованные. Мистер Крабб был мёртв, как бараний окорок. И всё же мистер Крабб продолжал писать нравоучительные повести рифмованными двустишиями.

Я читаю с отвлечённым интересом произведения нового поколения. Возможно, среди них уже появился поэт пылче Китса, возвышеннее Шелли, чьи строки мир с благодарностью сохранит в памяти. Не могу судить. Восхищаюсь их полировкой — их юность так искусно отточена, что уже абсурдно говорить о «перспективах»; изумляюсь изяществу их стиля. Их словарь так богат, что невольно воображаешь, будто они в колыбели перебирали пальцами Тезаурус Роджета. Но, несмотря на всю эту роскошь, они не говорят мне ничего.

По-моему, они слишком много знают и слишком явно чувствуют. Не выношу их сердечности, с которой они хлопают меня по спине, и напускного волнения, с которым бросаются мне на грудь. Их страсть кажется мне бледной, а мечты — слегка скучными. Нет, они мне не по душе.

Я — на полке. Я буду и дальше писать нравоучительные повести рифмованными двусишиями. Но вдвое глупцом был бы я, если бы делал это ради чего-либо, кроме собственного удовольствия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.